

А ведь правы были, пожалуй, красные колпаки и черные пятки[3] из Одеона, утверждая, что я жалкий трус!

Вот уже несколько недель, как я занимаю должность классного надзирателя в лицее и не испытываю ни горя, ни печали. Я не возмущаюсь, и мне ничуть не стыдно.

И напрасно я ругал когда-то школьные бобы. Здесь они, по-видимому, гораздо вкуснее, – я уничтожаю их в огромном количестве и дочиста вылизываю тарелку.

А на днях, среди глубокого молчания столовой, я даже крикнул, как, бывало, у Ришфё:

– Человек, еще порцию!

Все обернулись и засмеялись.

Смеялся и я. Постепенно я начинаю приобретать безразличие прикованного к тачке каторжника, цинизм арестанта, примирившегося со своим острогом... Еще немного – и я потоплю свое сердце в полуштофе здешней кислятины, полюблю свое корыто...

Я так долго голодал! Так часто туго-натуго стягивал ремнем живот, желая заглушить рычащий в нем голод: так часто тер его без всякого проблеска надежды на обед, что теперь с наслаждением медведя, забравшегося в виноградник, размягчаю горячими соусами свои пересохшие кишки.

Это почти так же приятно, как зуд заживающей раны.

Как бы то ни было, у меня уже не прежние впалые глаза, лицо утратило зеленоватый оттенок, и в бороде моей часто можно найти застрявшие кусочки яйца.

Прежде я не расчесывал своей бороды; я лишь дергал и теребил ее при мысли о своем бессилии и о своей нищете.

А теперь я ее хожу, слежу за ней... так же, как и за своей шевелюрой. А в прошлое воскресенье, стоя перед зеркалом без рубашки, я с удивлением и не без гордости заметил, что у меня отрастает брюшко.

У отца моего было больше мужества. Я помню, какой ненавистью сверкали его глаза в пору его учительства, – а ведь он не разыгрывал из себя революционера, не жил в эпоху

восстаний, не призывал к оружию, не проходил школы мятежей и дуэлей.

А я прошел через все это – и вот угомонился, обретя в этом лице покой богадельни, обеспеченное пристанище, больничный паек.

Один старый фарейролец, участник Ватерлоо, рассказывал нам однажды, как он в вечер битвы, проходя мимо кабачка, в двух шагах от Ге-Сента, бросил ружье и, повалившись на стол, отказался идти дальше.

Полковник назвал его трусом.

«Пусть я трус! Для меня нет больше ни бога, ни императора... Я голоден и изнываю от жажды!»

И он черпал жизнь в буфете этой харчевни, неподалеку от груды наваленных трупов, и никогда, по его словам, он не ел с большим аппетитом, никогда мясо не казалось ему таким вкусным, вино – таким освежающим. Наевшись, он положил под голову походный мешок, растянулся на земле, и вскоре его храп смешался с ревом пушек.

Мой дух засыпает вдали от битв и шума. Воспоминания прошлого звучат в моей душе, как дробь барабана в ушах дезертира: все тише и тише, по мере того как он удаляется.

Что удивительного? – Скитаться в течение целого ряда лет по мебелирашкам; довольствоваться любой дырой для ночлега, да еще залезать в нее только глубокой ночью из страха перед бессонницей и хозяйкой; нуждаться больше, чем кто-либо другой, в деревенском воздухе, а дышать миазмами крытых свинцом мансард; обладать аппетитом и зубами волка и быть вечно голодным – и вдруг... в одно прекрасное утро очутиться с едой, с чистой скатертью, постелью без клопов, пробуждением без кредиторов...

Дикий Вентра перестал неистовствовать; он сидит, уткнувшись носом в тарелку, у него своя салфетка с кольцом и прекрасный мельхиоровый прибор.

Он даже, наравне с другими, читает Benedicite[4], и с таким смиренным видом, что приводит в умиление начальство.

Покончив с едой, он возносит благодарение богу (конечно, по-латыни), засовывает руку за спину и распускает пряжку жилета; затем расстегивает одну пуговицу спереди и снова запахивает редингот, доставшийся ему по наследству и неуклюже пригнанный на его рост. Потом, с набитым желудком и жирными губами, направляется во главе вверенного ему класса к широкому двору «для старших», возвышающемуся над окрестностью, подобно террасе феодального замка.

Здесь в известные часы дня небо кажется мне покрывалом из тонкого шелка, и ветерок, точно легкое прикосновение крыльев, щекочет мне шею.

Никогда не наслаждался я такой безмятежностью и покоем.

Вечер

Маленькая комнатка в конце дортуара, где классные надзиратели в свободное время могут читать или предаваться мечтам, выходит окнами прямо в поле; оно изрезано ручейками, там и сям виднеются купы деревьев.

Ветерок доносит запах моря, который как бы оставляет привкус соли на губах, освежает мои глаза, успокаивает сердце. И оно только слегка трепещет, это сердце, в ответ на призыв моей мысли, – так трепещет занавеска на окне от дуновения ветра.

Я забываю свое ремесло, забываю сорванцов, к которым приставлен... но забываю также и нужду и восстания.

Я не поворачиваю головы в сторону бушующего Парижа, не ищу на горизонте дымного пятна, указывающего на поле битвы. Нет! Там, далеко-далеко, я обнаружил группу ив и цветущий фруктовый сад, и на них я устремляю свой растроганный, кроткий, как никогда, взгляд.

Да, приятели из Одеона правы: «Жалкий трус!»

Выйдя из лицея, я сразу же попадаю на спокойные, сонные улицы, а через сто шагов – я уже на берегу ручья. Без мыслей иду вдоль него, лениво поглядывая на листву деревьев или на пучок травы, уносимый течением и борющийся со всякими препятствиями по пути.

В конце дороги – небольшой трактир с гирляндой сушеных яблок вместо вывески. За несколько су я пью здесь золотистый сидр, слегка бьющий в нос.

Да, у меня нет ни стыда, ни совести!

Но у меня не было и удачи...

По счастливой случайности, лицей полон воздуха и света. Это – бывший монастырь, с огромными садами, с широкими окнами. В трапезную проникают солнечные лучи; в открытые окна дортуара доносится шелест листвы и трепет уже тронутой осенью природы, с ее теплыми тонами бронзы и меди.

Я не мог не понравиться ученикам, привыкшим иметь дело или с совсем неопытными, только что соскочившими со школьной скамьи надзирателями, или же со старыми, «заслуженными», еще более глупыми, чем казарменные дядьки.

Они приняли меня вроде как офицера нерегулярной армии, случайно призванного после смерти отца, старого служаки с нашивками; к тому же меня окружал ореол парижанина. Этого было вполне достаточно, чтобы юные узники не возненавидели меня.

Коллеги мои тоже нашли меня добрым малым, хотя и слишком скромным. Сами они проводили все свободное время в маленьком кафе, сыром и темном, где до одурения тянули пиво, пили кофе с коньяком и посасывали трубки.

Я не пью и не курю.

Весь свой досуг я провожу в пустом классе, у камина, с книжкой в руках или же на уроках философии с тетрадкой на коленях.

Преподавателю – он зять самого ректора – лестно видеть на своих уроках чернобородого парижанина с независимым видом, который, точно школьник, сидит на скамье и слушает лекцию о душевных способностях. Эти «способности» сыграли уже со мной штуку, когда я держал на бакалавра; не хватало еще, чтобы они подвели меня на следующем лицензиатском экзамене. Мне необходимо наконец знать, сколько их насчитывается в Кальвадосе: шесть, семь, восемь... больше или меньше!

И я прилежно посещаю уроки, чтобы быть в курсе местной философии.

15 октября

Сегодня начало занятий на словесном отделении; вступительную лекцию прочтет профессор истории.

Да я же знаю его, этого профессора!

Будучи студентом третьего курса Нормальной школы, он преподавал нам в лицее Бонапарта риторику как раз в ту пору, когда я изучал ее.

Это было в 1849 году, – и, я помню, у него срывались тогда смелые, революционные фразы. Я даже вспоминаю, что он приходил в кафе вместе с Анатоли[5] (он был знаком с его старшим братом) и что однажды, услышав, как я за соседним столиком разносил Беранже, он повернул голову в мою сторону.

Фамилия моя, конечно, тут же улетучилась из его памяти, но он запомнил мое лицо. Случай этот он тоже не забыл, и, когда я после лекции подошел к нему, он сразу узнал меня.

– Ну, что поделяваете? Я слышал, что вас не то сослали, не то убили на дуэли...

Я признался ему, что приспособился к обстановке, примирился со своей участью, доволен дисциплиной и что меня вполне удовлетворяет эта жизнь, – пробочник для сидра в одной руке, ложка – в другой, глаза устремлены на тихую гладь реки...

– Черт возьми! – проговорил он тоном врача, услышавшего о дурных симптомах. – Заходите ко мне, потолкуем. Я буду рад отдохнуть хоть немного от всех этих глупцов и ничтожеств.

И он жестом указал на директора и на группу своих коллег.

И это говорит преподаватель, пользующийся милостями всего начальства!

Зачем только я его встретил!

Я жил спокойно, чудесно отдыхал; он снова взбудоражил меня, и, когда в воскресенье я расстегиваю за десертом пряжку и уваливаю от волнующих разговоров, он тормозит меня:

– Надеюсь, вы не собираетесь обратиться в буржуа и разжиреть. Уж лучше я предпочту выслушать от вас еще несколько оскорблений за мой июньский крест[6].

Я действительно в первое же мое посещение наговорил ему много оскорбительного по поводу его ордена и хотел сразу же уйти.

Он удержал меня.

«Мне было тогда всего двадцать лет... я оказался в толпе учеников нашей Нормальной школы... Не уясняя себе значения этого восстания, я стал на сторону Кавеньяка[7], считая его республиканцем, и первым вошел на площадь Пантеона, где забаррикадировались блузники. Мне поручили сообщить об этом в Палате, и там мне нацепили эту ленточку. Но, клянусь вам, я никого не убил, а нескольким повстанцам даже спас жизнь, рискуя своей собственной. Оставайтесь!.. Вы хорошо знаете, что человек может измениться, поскольку сами признались, что и вы уже не тот...»

Он протянул мне руку, я пожал ее, и мы стали друзьями.

Я заслужил также расположение одного из его коллег, седовласого папаши Машара. Пережив свою славу в Париже, он похоронил себя в провинции.

– Который из вас Вентра? – спросил он, обращаясь к репетиторам, собравшимся на вторую годовую конференцию.

Я отделился от группы.

– Откуда вы? Где получили образование?... В Париже? Держу пари, что вы что-то окончили!

И он заставил меня прочесть вслух мою конкурсную работу.

– Да вы – писатель, сударь! – неожиданно выпалил он и, уходя, заставил меня проводить его до дверей своего дома. Дорогой я рассказал ему свою историю.

– Так, так! – сказал он, покачав головой. – Если б это зависело только от господина Лансена и от меня, то вы уже в августе были бы лицензиатом. Но удержитесь ли вы до тех пор? Оставит ли вас директор? Вы производите впечатление независимого человека, а ему нужны лакеи...

– Я уж и так стараюсь быть незаметным, приспособиться... Я решил пойти на унижения...

– Возможно, что вы и стараетесь, но ведь сразу видно, что вы собой представляете, и все эти ничтожества понимают ваше презрение к ним.

Старый учитель был прав. Не к чему мне было прикидываться смиренным, отращивать брюшко и читать Benedicite.

Факультетские святоши, директор и священник лицея решили выжить меня. Моя жесткая борода, мой открытый взгляд, стук моих каблуков – при всей легкости шагов – оскорбляют их бритые подбородки, бегающие глаза, их шаркающую походку.

Меня нельзя было обвинить в небрежном отношении к обязанностям или в пьянстве, и вот эти иезуиты придумали другое.

Они решили организовать заговор против меня, но так, чтобы он шел снизу.

Полночь

Дортуар, где я при свече корпел над своей работой, стал местом засады заговорщиков.

Уже само это здание монастырского типа располагало к бунту. Некогда каждый монах имел здесь отдельную открытую сверху келью. Теперь их занимают ученики. И так как внутренность этих «боксов» не видна, то надзиратель, хотя и слышит шум, не может подсмотреть, что делается за перегородками.

Однажды вечером в этих деревянных стенах вспыхнул бунт: стук в перегородки, свист, хрюканье, крики, и такие забавные, что, право, мне самому захотелось принять участие в этом концерте.

И я тоже начал стучать, свистеть, хрюкать и кричать пронзительным фальцетом:

«Долой надзирателя!»

За все время моего пребывания здесь я впервые почувствовал, что живу.

Стоя в одной рубашке посреди комнаты, я стучу подсвечником в ночной горшок, хрюкаю, кричу петухом и не перестаю визжать: «Долой надзирателя!»

Дверь отворяется... Входит директор.

Он так и остолбенел, увидев меня в раздувающейся сорочке, босиком, с горшком в одной руке и подсвечником в другой.

– Вы... вы... разве не слышите? – растерянно пробормотал он.

– ? ? ?

– Не слышите бунта?.. Криков?..

– Крики?.. Бунт?..

Я протер глаза и прикинулся удивленным и сконфуженным... Он прекрасно понял, в чем дело, и ушел, побелев, как фаянс горшка. Больше уж не будет восстания в дортуаре: нечего опасаться.

Я снова улегся, огорченный, что кончилась эта кутерьма.

Мне стало ясно, что я влип. Но, прежде чем меня выгонят, я потешусь над ними.

Случай скоро представился.

Заболел учитель риторики. Как правило, отсутствующего по той или иной причине преподавателя заменяет классный надзиратель.

Так что сегодня вечером мне придется вести урок, взойти на кафедру.

И вот я там.

Ученики ждут с волнением, порождаемым всякой новинкой. Как выпутаюсь я из этой истории, – я, прекрасный оратор, любимец профессуры, «парижанин»?

Я начинаю:

«Милостивые государи!

Случаю угодно, чтобы я заменил вашего почтенного учителя господина Жако. Но я позволяю себе не разделять его взгляда на систему преподавания.

Я держусь того мнения, что не следует ничего изучать, ничего из того, что вам предписывает учебное ведомство. (Движение в центре). Я полагаю, что принесу вам гораздо больше пользы, посоветовав играть в домино, в шахматы, в экарте. Тем, кто помоложе, разрешается насаживать мух на бумажку. (Движение во всем зале .)

Соблюдайте тишину, господа! Я продолжаю. При изучении Демосфена или Вергилия вовсе не требуется шевелить мозгами, но зато, когда надо сделать девяносто или пятьсот, объявить шах королю или насадить на булавку муху, да так, чтобы не причинить ей при этом особых страданий, – вот тогда необходима ясность мысли, и все ваше внимание, конечно, должно быть сосредоточено на невинном насекомом, которое, если можно так выразиться, зондируется вашим любопытством. (Сенсация .) Словом, я хотел бы, чтобы время, которое нам еще остается провести вместе, не было потерянным временем».

Картина!

В тот же вечер я получил отставку.